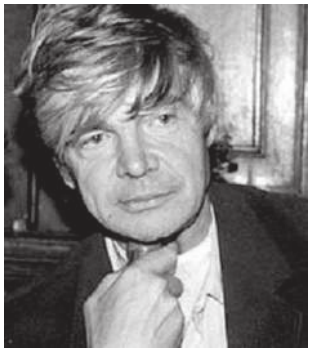
«Если человек займется исследованием своего организма или морального состояния, то непременно признает себя больным».

Иоганн Вольфганг Гёте

Жизнь Венедикта Ерофеева полна загадок. Одна из них почти неразрешимая. Почему он, находившийся в постоянной алкогольной зависимости, не оскудел интеллектуально, а с каждым годом писал ярче и выразительнее? По первому впечатлению, его тексты воспринимались как словесный эпатаж. Словно произошло парадоксальное совмещение житийной литературы с прозой Михаила Зощенко (1894 – 1958). В ерофеевской драматургии к тому же появляются образы похлеще, чем у Франца Кафки (1883 – 1924). К этим двум писателям я добавил бы малоизвестного сегодня Сергея Заяицкого (1893 – 1930), психолога и острослова. Прочтите его трагикомическое сочинение «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова» и сами в этом убедитесь. Современники утверждали, что даже Михаил Афанасьевич Булгаков в его компании слегка тушевался. Список мною названных имён, естественно, не окончательный. Он может быть дополнен многими другими авторами.

В сочинениях Венедикта Ерофеева перемешались события мировой культуры и истории, советской повседневности и его собственной жизни. Всё это нагромождение в сознании одного человека столь разнохарактерного материала не было в литера-

туре XX века чем-то особенным и редко встречающимся явлением. В процессе художественного осмысления сути человеческого существования оно привело многих западных писателей второй половины XX века к жанровому и стилевому синкретизму. Среди них Венедикт Ерофеев не был исключением. Подобные новшества преобразили художественный текст. Теперь он в большей мере соответствовал духу и букве сумбурной и быстро меняющейся действительности с



её постоянными социальными, политическими, природными мутациями и катаклизмами. Никого уже не удивляет присутствие в современном рассказе, романе или пьесе жанровых черт детектива, церковной проповеди и философского трактата.

Однако общность этих стилевых особенностей современной литературы, роднящая прозу русского писателя с сочинениями его коллег за рубежом, вовсе не сделала его своим среди мастеров западного поставангарда. Советская обыденная жизнь, мастерски воссозданная Венедиктом Ерофеевым его специфической манерой письма, основательно затрудняет зарубежному читателю адекватное понимание подтекста его прозы, её общечеловеческого и общехристианского содержания. К сожалению, таинственная глубина его легендарной поэмы «Москва – Петушки» в переводах практически исчезает.

Сергей Довлатов в аналитической программе «Алфавит инакомыслия» на Радио «Свобода» объяснил, почему такое происходит: «... связано это, главным образом, даже не с языком, а с осознанием контекста – бытового, социального, лексического. Достаточно сказать, что в словесном потоке ерофеевского романа тысячи советских эмблем, скрытых цитат, нарицательных имён, уличных словечек, газетных штампов, партийных лозунгов, песенных рефренов...»

Венедикт Ерофеев понимал, в какой стране родился и живёт. СССР был для него мессианской тоталитарной державой, подорвавшей силы в бесплодных попытках превратить весь мир в коммунистическое братство.

Не издававшийся долгое время на родине, Венедикт Ерофеев всё-таки обрёл широкую известность уже при жизни. В начале 70-х годов прошлого века его слава не только гремела, но и

голосила на все голоса. В последнем случае не в переносном, а в буквальном смысле. Понятно, что голоса эти были исключительно вражьи. Как только поэма «Москва – Петушки» появилась сначала в «Самиздате», а затем в Израиле, где была впервые издана в 1973 году в журнале «Ами», все вещающие на СССР радиостанции западных стран не обошли это событие вниманием. Недоумение, что в Советском Союзе живёт писатель, не похожий на своих собратьев по перу ни образом жизни, ни характером творчества, вскоре сменилось желанием объяснить, как такая несообразность могла произойти при власти большевиков и не является ли это сочинение предчувствием её естественного конца.

Первое, что пришло в голову зарубежным советологам, – объявить его борцом с «антихристовым социализмом» и зачислить в число антисоветских писателей. Своей прямолинейностью они солидаризировались с экспертами по литературе, обслуживающими Пятое управление КГБ с его начальником Ф.Д. Бобковым, зорко приглядывающее за творческой интеллигенцией. Будем снисходительны к поэтической глухоте этого генерала, назвавшего уже в наше просвещённое время Иосифа Бродского графоманом. Ведь в СМЕРШе, где начиналась его военная карьера, не учили отличать истинное поэтическое слово от «шершавого языка плаката». Вместе с тем, доблестных чекистов, выступающих на ниве отечественной словесности в роли смотрящих, было бы несправедливо обвинять в преднамеренной лжи. Они, я думаю, просто растерялись и не знали, как им поступить в отношении Венедикта Ерофеева. Такой экзотический типаж среди писателей им ещё не попадался. Он не был ни советским, ни антисоветским писателем. Скорее он напоминал кота из сказки Редьярда Киплинга (1865 – 1936), который гуляет сам по себе. Кота особенного, ясно представляющего, куда занесла его судьба.

В самом деле, Венедикт Васильевич никем политически ангажирован не был. В диссидентском движении участия не принимал, хотя с некоторыми диссидентами общался и даже дружил. На Госдеп он не работал и на КГБ тоже. Мыслил и писал вольно, всегда испытывал удовольствие, прикоснувшись пером или карандашом к бумаге. Ни на кого особенно из литературных авторитетов не залипал, хотя некоторых из них всё-таки выделял из общей писательской массы.

К тому же Венедикт Ерофеев не обладал распространённой в писательской среде способностью рассуждать в духе идей своего собеседника. Такая манера разговора способствовала быстрому

сближению и обрастанию приятелями и друзьями. Он любил сидеть в одиночестве на природе и о чём-то размышлять, наблюдая, как шелестит листва и перелетают с ветки на ветку птицы. Сердился, когда кто-то ему мешал находиться в подобном своеобразном затворничестве.

Он воспринимал жизнь серьёзно и с радостью. Для него жизнь не была, как полагала Анна Ахматова, только привычкой. Он купался в ней, как воробей в луже под музыку ветра. Жить в глубокой внутренней тишине, размышляя об этом божьем даре, – вот что доставляло ему настоящее удовольствие. И это несмотря на то, что балансировать приходилось на острие ножа. Венедикт Ерофеев не искал беду на свою голову. Однажды его передёрнуло от мысли, что жизнь без трагедии превращается в пошлость. Его мечтой было заполучить какую-нибудь хибару в деревне и поселиться в ней надолго – до самого последнего часа. В деревенской глуши он был готов жить, чем бог послал: питаться грибами, ягодами, кореньями, хоть небесной манной. Не получилось.

Жизнь бросила Венедикта Ерофеева в вероломный мир страстей. Не буду ханжой, сказав, что, как ни парадоксально, он уже с детства с ужасом вглядывался в мир *сансары*, чуждый его натуре и взглядам. Для него *сансара* олицетворяла обыденную, сибаритскую и благополучную жизнь. У индусов *сансара* – одно из центральных мировоззренческих понятий и сочетается с законом моральной причинности – *кармой*.

Карма воплощает «личную ответственность человека по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему». Известный индолог Виктория Лысенко уточняет в энциклопедии «Индийская философия» употребление слова *сансара* в широком смысле: «Сансара используется индийцами как синоним феноменального существования вообще – изменчивого, но в то же время бесконечно повторяющего одни и те же сюжеты, в более узком смысле – как обозначение окружающего мира, а точнее, индивидуального мира отдельного человека, сферы его субъективного опыта».

Тошно ему было смотреть на мир *сансары*, в котором одни люди выглядели самодовольными, расфуфыренными и высокомерными, а другие – опустошёнными, одинокими и унылыми. Однако, оказавшись в этом мире, Венедикт Ерофеев не сводил ни с кем счёты. Бесы мщения им не овладели. Своих сил на бессмысленную борьбу и полемику он не растрачивал. На амбразуру не лез. Был убеждён, что Россия страна в большей степени западная, чем восточная, как бы её ни обряжали в кокошники, сарафаны и

кафтаны. Понимал, что спорить с дураками себе будет дороже. Да и полемизировать с некоторыми умниками, которые от слов оппонента впадали в состояние невменяемости, было ему не с руки. И уж определённо он не относился к тем людям, кого заёмные идеи съедали настолько, что ничего *своего* в человеке не оставалось. Его внутренняя тишина не сообразовывалась с полемическим задором.

Вместе с тем аполитичным человеком Венедикт Ерофеев не был. Ведь его начавшаяся взрослая жизнь совпала с хрущёвским временем *оттепели*. Именно оно вызвало брожение в умах советских людей. Он мог бы подписаться под размышлениями Григория Померанца, отчима его близкого друга и учителя Владимира Муравьёва: «Перелом наступил вместе с *оттепелью*. Сперва совершенно незаметно, без всяких новых идей – как новое построение, стиль жизни, ещё не выраженный в понятиях. Понятия пришли потом и сложились в теорию, согласно которой всякое политическое движение – бесовщина и всякая революция – зло. (...) И католики, и протестанты, воцерковлённые до ушей, воюя за веру, очень далеко отступили от десяти заповедей. Но вот что отличает нашу революцию и именно нашу, а не английскую или американскую: она попросту отменила нравственный опыт трёх тысяч лет. Грешат все, но катастрофой была отмена самого понятия “грех”. Как ни страшно любое насилие, ещё страшнее насилие “по совести”: нравственно то, что полезно революции».

Нельзя упрекнуть Венедикта Ерофеева и в двоемыслии, которым отличается большая часть российской творческой интеллигенции. Не в общеупотребительном смысле этого слова, а в том, как понимал такой склад ума Иосиф Бродский: «Говоря “Двоемыслие”, я имею в виду не знаменитый феномен “говорю одно – думая другое – и наоборот”. Я также не имею в виду оруэлловскую характеристику. Я имею в виду отказ от нравственной иерархии, совершённый не в пользу иной иерархии, но в пользу Ничто». Назвав Джорджа Оруэлла (1903–1950), Иосиф Бродский напомнил об интерпретации понятия *двоемыслие* в антиутопическом романе британского писателя «1984». В этом произведении известные нравственные понятия обретают противоположный аморальный смысл.

Мне вспоминаются рассуждения критиков о терпимом отношении Венедикта Ерофеева к советской идеологии и её представителям. Это отношение сравнимо с восприятием миража, который являет собой временную игру воздуха со светом и вскоре рассеивается сам по себе. *Ничто* оно и есть ничто. Фантом, иллюзия, фата-моргана.

Здесь, впрочем, необходимо сделать одно уточнение. В рассуждениях о двоемыслии Иосиф Бродский как поэт огромного творческого масштаба перемещает себя в Космос, где истечение одного часа равно тысячелетиям на Земле. А семьдесят четыре года (если вести отсчёт времени с 1917 до 1991 года) при таких пропорциях шкал времен вообще *ничто*. Но людям от этого объективного факта, прямо скажем, не становилось легче.

Для многих писателей и читателей, сверстников Венедикта Ерофеева, он возник как будто бы из ниоткуда. Взлетел, как ракета, из народной гущи и нате вам – оказался на Олимпе. Между тем, назвать его талантливым самородком из народа было бы не то что опрометчиво, а абсолютно неверно. Ведь он сочинял *своё* с оглядкой на шедевры писателей-классиков и на труды великих философов. Их сочинения хорошо знал и многое из прочитанного мог бы изложить с абсолютной точностью, обладая цепкой и тренированной памятью. Об его обширной эрудиции свидетельствуют как его «Записные книжки», так и художественные произведения.

Через какое-то время число изданий поэмы «Москва – Петушки» в переводе почти на двадцать языков приблизилось к сорока, а общий тираж этой книги составил миллионы экземпляров. В 1990 году студия BBCFilms посвятила поэме и её автору документальный фильм «Из Москвы в Петушки с Венедиктом Ерофеевым»,

режиссёром и сценаристом которого был поданный Соединенного королевства, поляк по происхождению Павел Павликовский.

Несмотря на такое всеобщее признание, Венедикт Васильевич до самой своей кончины 11 мая 1990 года держался скромно, без всякого выпендрёжа и спеси. Многими его деликатное отношение к людям воспринималось как проявление доходящего до глупости простодушия. Не потому ли его обманывали все, кому не лень? Запредельные тиражи поэмы «Москва – Петушки» лично ему и его семье больших денег не принесли. Да он по этому поводу не особенно сокрушался, довольствовался малым, тем, что каким-то чудом до него всё-таки доходило.

Стало общим местом в литературе о Венедикте Ерофееве представлять его идущим по жизни с бутылкой под мышкой. Мало кто до сих пор понимает, что поэма «Москва-Петушки» вовсе не о съехавшем с катушек алкоголике, жертве советской системы, не о коварстве бездушной власти, не о нашем беспокойном времени, а о русском человеке, каким он предстаёт в своих благородных и непотребных проявлениях в сказках, былинах, бывальщинах и анекдотах. О его незлобивости по отношению к жизни. О его вольнолюбии, простодушии, доброте и в то же время дикости, своеволии и взрывном характере. Речь идёт о национальном культурно-психологическом типе, черты которого формировались на протяжении многих веков. И одновременно это человек, живущий в обществе, где господствует советская мифология чёрно-белого мира и присутствует вечная угроза войны.

В поэме «Москва-Петушки» писателю удалось воссоздать эти как национальные, так и сугубо советские особенности бытия настолько достоверно и впечатляюще, что многие цитаты из неё вскоре стали афоризмами.

В своём сочинительстве Венедикт Ерофеев не пускался на всякого рода ухищрения. Сюжеты его произведений незамысловаты. Основное действо не выходит за рамки неприкаянной и тягостной человеческой жизни. Читателя захватывает, прежде всего, острота переживаний героев, а не вызывающие их события, большей частью достаточно заурядные.

Проза Венедикта Ерофеева непонятно о чём конкретно. Она не о сумасшедших и спившихся людях, не о тайнах любви и тем более – не о чувственных наслаждениях. Сотворить что-то остренькое, пикантное, сосредоточиться на сексе было не в духе писателя. Эротика с её голой чувственностью его не интересовала. И уж совсем он был чужд литературной подёнщине.

Невозможно разобраться, какие прошлые страсти и переживания автора стоят за поступками персонажей поэмы «Москва – Петушки» и пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Вероятно, этому мешает чрезвычайная экспрессивность повествования, создающая разноголосицу смыслов. Кажется, что Венедикт Ерофеев изливает всё, что приходит к нему в голову, не обращая никакого внимания, как его полная свобода самовыражения будет восприниматься целомудренным читателем. Отличие его прозы от произведений того времени в том, что в ней отсутствует какая-либо идеологическая или любая другая подоснова. Окунаться во что-то сиюминутное и непотребное было ему малоинтересно. Другое дело, что сумеречное существование, в котором проводят жизнь герои Венедикта Ерофеева, иногда озаряется вспышками таких чувств и эмоций, что, кажется, продлись они чуть дольше – и запылает весь мир.

Вместе с тем он был далёк от мысли: да гори оно всё синем пламенем!

Не стоит особо заморачиваться на том, что Венедикт Ерофеев часто находился «подшофе». Лучше воспринимать такое его состояние как неустранимое проявление неизлечимой болезни, развивавшейся на фоне находящейся в преддверии распада огромной страны, которую он любил. Так стоит ли скептически относиться к тому, что его писательство и эта болезнь поддерживали и подпитывали друг друга. В его жизни так оно и было. Сам Венедикт Васильевич не выяснял, что у него первично, а что вторично: страсть к выпивке или к сочинительству?

Я думаю, что ему пришлись бы по душе высказывания на этот счёт двух великих американских писателей. Эрнест Хемингуэй как-то обронил: «Интеллигентный человек вынужден иногда напиваться, чтобы вынести общение с дураками». Уильямс Теннесси обратил внимание на другое общественное явление, существующее с незапамятных времен: «Ложь – это система, в которой мы живём. Алкоголь – единственный выход из этого замкнутого круга».

Выскажу одно предположение, которым ни в коем случае не собираюсь защищать алкоголизм. Беспробудное пьянство подводит человека, ещё сохраняющего рассудок, к пониманию того, что составляет стержень человеческой личности. В условиях, когда её распад неминуем.

Герой Венедикта Ерофеева не признаёт приоритет государства над самим собой и предпочитает жить вне социальной ие-

рархии. Ему чужда сакрализация государственной власти и не присущи покорность раба и легковерие идиота. Он выпрыгнул из всего телесного, тленного и устремился туда, где у времени и пространства совершенно иные параметры и координаты. Кстати, разумом он абсолютно не понимает этот вожделённый рай, к тому же неизвестно где находящийся, но сердцем и душой его хорошо чувствует и представляет. Словом, ситуация возникает чисто российская: иду туда – не знаю куда, найду то – не знаю что. И как всегда, чтобы не сойти с ума от такой неопределённости, выручает внутренний голос: «Ложись спать, утро вечера мудренее».

Что-то запредельное, не от мира сего присутствует в литературных персонажах Венедикта Ерофеева и в нём самом: сочетание русского бытового раздолбайства с молитвенно-созерцательной отрешённостью от всего временного и преходящего. Недаром жизнь и трагическая смерть героев его произведений и его самого обретают смысл религиозной притчи о новомучениках XX века.

И всё же к чему может привести головокружительное пьянство, когда человек упорно и последовательно уничтожает себя духовно и физически? Отвечу прямо: к деградации и преждевременному уходу из жизни. В большинстве случаев так оно и происходит. Вспомним древнегреческого философа и математика Пифагора (около 570 – 500 до н. э.): «Пьянство есть упражнение в безумстве». Менее образно, но более конкретно предупреждение французского писателя Оноре де Бальзака: «Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее».

Парадокс состоит в том, что, по уверению Дональда У. Гудвина, заведующего кафедрой психиатрии Канзасского университета, автора нашумевшей книги «Алкоголизм», у художественного дара и алкоголизма одни и те же корни. Неспроста ведь этим недугом страдало и страдает немало писателей, а также людей других творческих профессий. Про политические фигуры мирового масштаба и говорить нечего. Некоторые государственные деятели глубокой древности и нашего времени с упоением предавались этому пороку, прямо скажем – не худшему среди многих других. И даже, такое случалось, они доживали до преклонных годов.

Не только своими походами, но и обильными, возлияниями прославился, например, Александр Македонский. От него не отставал наш царь Пётр I. Он часто напивался со своими соратниками до положения риз. В отличие от Петра I Иосиф Сталин знал, когда ему притормозить. Однако получал ни с чем несравнимое

удовольствие от совместных полуночных трапез, непрерывно подливая прекрасное грузинское вино в бокалы своих товарищей по Политбюро. Можно представить, как им хотелось, наконец-то, оказаться в собственных постелях, а не где-нибудь ещё.

Не стоит, однако, отождествлять писателя с его персонажами даже в том случае, когда его сочинения приближаются по откровенности и искренности текста к исповеди. К тому же пьющий Венедикт Ерофеев не выглядит белой вороной среди многих известных выпивох, принадлежавших истории мировой культуры. Ремесло писателя не из лёгких. Заново восстанавливать свою прожитую жизнь и жизнь других людей – всё равно, что строить замки из песка. Одно неловкое движение – и выстроенное тобой в миг рассыпается. Тогда приходится начинать всё сначала. К тому же над писателем, как дамоклов меч, нависает вопрос: «А нужна ли людям его писанина?». Понятно, отчего его рука непроизвольно тянется не к перу и бумаге, а к бутылке. У художников и композиторов, а также выдающихся учёных причины их пьянства могут быть другие, но по форме и конечным результатам оно мало чем отличается от писательских запоев.

В древнем Китае, где привыкли зрить в корень, как нигде в мире, быть пьяным означало обрести свободу творчества. Для китайского поэта понятия пить вино и писать стихи сопричастны друг другу. Бессмертный пьяница Ли Бо почти всегда находился под воздействием винных паров. В одной из песен того времени говорилось, что Ли Бо может написать сто песен при одном условии: если он выпьет, не торопясь, шесть литров вина.

Писателей, а не подрукавных писак, от заурядных пьяниц отличает страсть к созиданию. Благодаря этой страсти, самые спившиеся и пропащие из них, хотя бы изредка, ощущают себя счастливыми. К тому же прозорливые люди, особенно поэты, при этом понимают, что их печальная участь пребывать на земле чужеземцами. Потому-то их тянет с насиженных мест непонятно куда. Наиболее рассудительные из них могли бы вслед за французским поэтом Шарлем Бодлером сказать: «жизнь – это больница, где каждый пациент хочет перебраться на другую кровать». И всё же, как ни прискорбно признать, у большинства простых смертных, у кого ослабевает сила души, тут же появляется искушение пуститься в разгул. Пьянство и эротика начинают вытеснять из их жизни многие прежние добродетели.

Цель у автора поэмы «Москва – Петушки» и его персонажа Венички была абсолютно другая, возвышенная и благородная.

Она не связана с желанием окончательно споить жителей родной страны и чётко сформулирована писателем: «Больше пейте и закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма».

Предлагаемые автором поэмы коктейли крепко замешаны на неприкаянной жизни, безысходности и советских одеколонах. Их названия, вроде *Смерти комсомолки*, *Сучьего потроха*, и *Поцелуя тёти Клавы*, очень специфичны и малопонятны для иностранцев. Упоминаемые в поэме «Москва – Петушки», они резко отличаются от тех, которые вкушали сильные мира сего. И, разумеется, непредставимо далеки от тех наполненных вином бутылок, что стояли на столе у Иосифа Сталина, как от нас туманность Андромеды. Называть напитками, что пил герой Венедикта Ерофеева Веничка, то же самое, что делать из мухи слона или из комара певчую птаху. Во всех словарях русского языка эта сотворённая наспех *амброзия* обозначена широким и расплывчатым по смыслу понятием – бухало или бухло. Оно, это бухало-бухло, появилось на божий свет на радость загульным алкашам как плод их изощрённого ума, едва функционирующего при почти пустых карманах.

Подобное снадобье настолько специфично, что вряд ли имеется что-то подобное в других странах. Изысканной и невиданной роскошью предстает на его фоне коктейль «Мохито», собственноручно составленный Эрнестом Хемингуэем из унции убойной крепости белого рома, шести листиков мяты, сока одного лайма, двух чайных ложек коричневого сахара и трех унций шампанского. Как говорят, комментарии излишни. Остаётся только сказать: богато жить не запретишь!

У Венедикта Ерофеева долгое время не было собственного жилья, даже захудалой комнатёнки в коммуналке. Соответственно, отсутствовало постоянное место для ночлега. Случалось, что он не знал, куда ему приткнуться на ночь. Зато его познания о стране, в которой он родился, были обширны и больше соответствовали реальному положению дел в ней, чем представления о СССР председателя Комитета государственной безопасности Ю.В. Андропова, который лет через восемь после написания поэмы «Москва – Петушки» горестно и с удивлением в тесном кругу соратников воскликнул: «Мы не знаем, в какой стране живём!». А Венедикт Васильевич знал её, как свои пять пальцев и даже лучше. В поэме «Москва – Петушки» он поделился этим знанием с председателем КГБ, даже не рассчитывая, что тот ему поверит. К

самому Андропову, надо сказать, он относился с некоторым снисхождением и даже по-христиански сочувственно.

Вообще-то по характеру Венедикт Васильевич был не деятель, а наблюдатель. Его невозможно представить во главе какого-нибудь протестного движения или что-то выкрикивающим в шеренге демонстрантов с транспарантом в руках. Совсем сюрреалистической показалась бы картина, изображающая его на коне или в виде памятника, или возвышающимся над толпой на Красной площади, до которой герой его поэмы, надо заметить, всё-таки добрался себе на погибель. Он был зарезан в подъезде дома, судя по всему, где-то неподалеку от ГУМа.

Стоящим на трибуне мавзолея видел себя его коллега и антипод Эдуард Лимонов, который, торопясь и глотая слова, пафосно рассказывал об этой выстраданной в своих снах юношеской мечте приятелям в Нью-Йорке во время жарких политических дискуссий на Брайтон Бич, о чём вспоминала его тогдашняя жена Наталия Медведева. И очень сердился, когда приятели смеялись, думая по своей наивности, что он так нелепо и пошло шутит. Ведь Лимонов уверовал в свою миссию вождя великой страны, что помогло ему смириться со всякими жизненными неурядицами и вообще с человечеством, которое он всеми силами пытался приспособить к самому себе.

Тут ничего не поделаешь. У писателей и художников свои закидоны и приветы. Для читателей и зрителей их чудачества, как правило, в радость и удовольствие. Впрочем, до тех пор, пока власть их кумиров ограничивается пространством литературы и искусства. Не забудем, что Иосиф Сталин начинал как стихотворец и был уже в юном возрасте замечен грузинской литературной общественностью.

Венедикт Ерофеев был абсолютно лишён политических и каких-либо иных амбиций. Писательство было для него таким же естественным биологическим процессом как способность набирать воздух в легкие и тут же выдыхать его. При том ханжестве и фарисействе, которое у нас сохраняется в крови с момента появления на свет, а с годами переходит в устойчивый рефлекс, жизнь и судьба Венедикта Ерофеева, заново пережитые и переосмысленные им в его произведениях, может, ужаснув, вызвать шок и даже оттолкнуть от себя.

Веничка из ерофеевской поэмы не абы какой и, как говорят, не лыком шит. Он не ищет приключений на свою голову. Они сами его находят. В его действиях присутствует благородная цель – до-

ехать с подарками до Петушков, своей земли обетованной, до своего горнего Иерусалима, где его ждёт молодая женщина с косой от затылка до пят с трёхлетним заболевшим малышом, знающим букву «ю». Может быть, там он, наконец-то, бросит якорь. На этом пути лишь одно серьёзное препятствие – его алкогольная зависимость. Маршрут поезда из Москвы в Петушки не случаен, полон особого, метафизического смысла. Это бегство из города, олицетворяющего апогей власти государства, его мощь – третий Рим, существующий при всеобщей вере, что четвёртому – не бывать. Он устремляется в новое пространство – туда, где, согласно его надежде, тленное существование необратимо преобразуется в духовное.

Советская власть, между тем, не была для Венедикта Ерофеева вещью в себе. Он понял, что она из себя представляет, даже не из книг, а благодаря собственному опыту. По её бесчеловечному отношению к его семье и к нему самому, а также по судьбам миллионов других людей.

Вспоминается по этому случаю метафорическое высказывание о сущности этой власти известного экономиста и писателя Николая Шмелёва в пересказе его друга и коллеги Владимира Попова: “В чём состоит самая глубокая тайна советской системы? Я не сразу понял, мне понадобились годы, чтобы понять. Я думал, что на Лубянке есть подвал, там клетка, в клетке – три мудреца. Когда «припекает», возникают серьёзные проблемы, члены Политбюро идут в подвал к клетке за советом. Мудрецы им и говорят – «вводите войска в Чехословакию» или «стройте «Атоммаш», или «поднимайте цены на мясомолочные продукты». Так вот, самая главная тайна советской системы состоит в том, что не только мудрецов, но и клетки и даже подвала на Лубянке нет”.

Надо признать, что люди власти в СССР были такие же раздолбаи, как персонажи Венедикта Ерофеева. При всём своем экономической планировании эта система жила на авось и полностью зависела от капризных причуд судьбы и даров природы, которые могут когда-то неожиданно иссякнуть, то есть от незапланированных случайностей. Выживала она каким-то чудом, постоянно балансируя на краю пропасти, куда однажды внезапно для всего мира рухнула. Обман и враньё – средства, действующие на людей до какого-то времени. Они в своей эфемерности сродни миражу. А мираж имеет свойство рассеиваться.

Представьте себе, каково было оказаться в такой ситуации честному, думающему и легко ранимому человеку К тому же по-детски незащищённому. Естественно, герой поэмы «Москва-

Петушки», как пафосно писал в своё время и при других обстоятельствах Оскар Уайльд, облачается в «покровы меланхолии и печали, как монарх в королевские одеяния». Поэтому-то у Венички из поэмы помимо цели добраться до жены с заболевшим сыном и духовно преобразиться, есть ещё другое желание – пить до бесконечности и впасть в забытьё. При таком повороте событий город Петушки становится недостижимым мифическим местом, из христианского горнего Иерусалима превращается в буддийскую Шамбалу, где обитают, как уверяли Елена Блаватская и Елена Рерих, «великие души» – *махатмы*. При этом бремя грехов государства по отношению к людям не отсекается, а непомерно возрастает. При таком подходе к поэме «Москва–Петушки» было бы упрощением назвать её мифом об отчуждении и одиночестве. Иными словами, эта поэма не столь проста, как представляют её многие читатели, последовательные борцы с пьянством и с людской распущенностью.

Читая поэму «Москва–Петушки», понимаешь, как хорошо и комфортно напивающемуся главному герою Веничке существовать в эфемерности. Ему не скучно беседовать с самим собой и с заботливыми ангелами, что, сострадая, кружат над ним. При всём пренебрежении Венедиктом Ерофеевым материальным благополучием аскетизм в его крайностях был ему чужд. Хотя я могу предположить, что его неприхотливость в еде, может быть, объясняется инстинктивным тяготением к аскезе. Та жизнь, которую он вёл, не требовала особых затрат. Более того, он обходился самым малым и часто из-за постоянного безденежья голодал. Существует много свидетельств, что в критические моменты своих скитаний он никогда ни к кому не навязывался. Чувство врождённой интеллигентности не позволяло ему в общении с окружающими людьми вести себя напористо, бесцеремонно и нагло. Тем более, он никогда не опускался до навязчивого попрошайничества. Клянчить взаймы деньги, набиваться на обед – было не в его натуре. Подношения Венедикт Васильевич принимал с удовольствием, но не милостыню. От фимиама, который воскуряли ему экзальтированные поклонницы, у него першило в горле, и слезились глаза.

В компаниях, в которых оказывался Венедикт Ерофеев во второй половине 80-х годов, за редким исключением, преобладали чужие, что-то пописывающие люди. Они ему не нравились ни по уму, ни по виду, ни по путаным речам. Однако наблюдать этих наглых говорунов и всматриваться в их лица было ему не в тягость. Чаще всего – любопытно. При всём их агрессивном поведении из

пронырливых и воспалённых глаз с опухшими веками выглядывало что-то жалкое и растрёпанное. Они явно нуждались в чьём-то дружеском попечительстве, напряжённо выискивая влиятельного и приветливо к ним настроенного человека. Особенно того, кто содействовал бы их поступлению в Союз писателей СССР.

Мысль, что они будут призваны в круг избранных, волновала их до сердцебиения. Выпивка стимулировала развязный тон речей этих людей, однако среди них Венедикт Ерофеев чувствовал себя неуверенно, словно попал по ошибке в гости к неандертальцам. Он не знал, как с ними себя вести, о чём говорить, и был им тоже малопонятен. Присутствуя в случайных компаниях, он, не веря глазам своим, наблюдал, как смотрящие на него тупые лица преображались в изумлённые. Возникающее внутреннее напряжение в таких случаях всегда снижала смешливость – врождённое свойство его натуры. Театровед Ирина Нагишкина вспоминает слова Венедикта Ерофеева: «...Жить опасно, страшно, больно и очень смешно...».

Для многих людей до сих пор остается загадкой, как при том образе жизни, который избрал себе Венедикт Ерофеев, появился, казалось бы, из ниоткуда писатель, по таланту ничуть не уступающий классикам XX века. Чтобы его сочинения оценить в полной мере, придётся понять, о чём, собственно говоря, они повествуют? Что творится в голове у персонажей писателя? Хочешь – не хочешь, но придётся заставить себя влезть в их шкуру, преодолеть по отношению к ним брезгливость и высокомерие. Несчастными, общипанными жизнью пропойцами могли бы стать многие из нас. Вспомним жертвы лихих девяностых...

«Москва – Петушки» абсолютно русский роман. До Венедикта Ерофеева ещё никто не описал с такой художественной убедительностью жизнь и ощущения пропащего человека, нашего современника. Такое не придумаешь, через это надо пройти самому.

Нельзя не обратить внимания на внутреннюю музыкальность Венедикта Ерофеева, о чём вспоминают многие его друзья. Казалось, он родился с оркестром в голове. Иосиф Бродский считал музыку лучшим учителем композиции. Говоря о ней, он подчёркивал, что она учит писателя композиционным приёмам, но, «разумеется, не впрямую, её нельзя копировать». По мысли поэта, «в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется». По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой, Венедикт Васильевич «музыку не просто любил, а обнимал, поглощал». Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.

Наталья Шмелькова, близкий друг писателя, автор недавно переизданных двух книг о нём – «Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного» и «Последние дни Венедикта Ерофеева» – вспоминает: «Одним из любимых композиторов был Сибелиус. Особенно часто он слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непременно заводил Четвёртую симфонию композитора. Сказал:"Послушай мою Родину..."».

Чувство Родины для Венедикта Ерофеева было бы ущербным, как у многих жителей мегаполисов, не возникни оно, словно дуб из жёлудя, из любви к тому месту, где он появился на свет, провёл детство и юность – к Кольскому полуострову, почти полностью расположенному за полярным кругом. Он всю жизнь при всех своих мытарствах и перемещениях по России сохранял память о родном гнезде, хотя бы и разорённом. Сколько раз Венедикт Ерофеев возвращался туда, откуда началось его узнавание мира, где возник страх от ощущения недолговечности жизни, неисчезающая печаль оттого, что всё в ней преходяще. Как бы то ни было, он не разочаровывался своим очередным пребыванием в родных пенатах. Ведь им двигало не только желание встретиться со знакомыми людьми и потребность снова оказаться лицом к лицу с природой этого края. Эти приезды давали ему намного больше. Они укрепляли в нём верность своему детству. К нему возвращалось блаженное состояние духовной и телесной чистоты. Он словно выныривал, задыхаясь, из болотной жижи и видел над собой северное рассветное небо, а по сторонам каменистые сопки с низкорослыми берёзами в низинах и везде вокруг многообразье цветущих полевых трав.

Проза Венедикта Ерофеева с её глубинным содержанием, с её особой композицией, выстроенной на попеременной смене нарастающих и ниспадающих ритмов, с её водоворотом причудливых образов, с её контрапунктами, настойчивыми лейтмотивами и неожиданными стилистическими эффектами, безусловно, соответствует музыкальным канонам. Перенеся психологически точное наблюдение Георгия Адамовича с судьбы поэта-эмигранта Бориса Поплавского на Венедикта Ерофеева, можно сказать, что им созданное «остаётся свидетельством веры в одно только музыкальное начало творчества, или как завещание человека, для которого музыка была соломинкой утопающего».

Венедикт Ерофеев в беседе с малосимпатичными людьми любил поёрничать и огорошить собеседника мнимой откровен-

ностью. Это желание присочинить что-нибудь такое, отчего у вопрошающего отвиснет челюсть, было у него в порядке вещей. По-видимому, этой особенностью общения с интервьюерами объясняются всякие небылицы, которые он наговорил им о себе и своих родителях в надежде, что эти настырные и охочие до сенсаций люди, наконец-то, угомонятся и от него отстанут.

Венедикт Ерофеев понимал, что после его смерти они наплетут о нём ещё больше гадостей и присочинят уже от себя немало новых глупостей. Я предполагаю, что в своих отношениях с представителями средств массовой информации, работающих на потребу публике и требующих от него побольше «жареных фактов», он исходил из известного суждения А.С. Пушкина о низменном любопытстве толпы, для которой нет ничего более постоянного, чем выискивать уязвимые в моральном отношении факты из личной жизни гениальных людей. Речь идет о письме П.А. Вяземскому в связи с сожжением великим ирландским поэтом Томасом Муром мемуаров другого гения – Джорджа Гордона Байрона.

Венедикт Ерофеев не стал дожидаться направленных против него после смерти инсинуаций и проявил инициативу. Он опередил злопыхателей в придумках против него и его семьи всяких нелепостей, выплеснув ещё при своей жизни на себя самого ведро помоев. Вот такой он предпринял неожиданный и оригинальный ход, обескуражив близких ему людей и переиграв своих врагов. До него ещё никто из писателей, как мне известно, от клеветников и хулителей подобным образом не отбивался.

Вот небольшой отрывок из известного и часто цитируемого дружеского послания А.С. Пушкина: «Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. – Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он мал и мерзок – не так, как вы – иначе!».

Венедикт Ерофеев своими шокирующими высказываниями о семье подчёркивал, что сейчас не пушкинское время аристократов и плебеев. В современном обществе не стоит возводить стену между гениями и простыми смертными. Те и другие сидят по уши в дерьме, оказавшись в выгребной яме *сансары*.

Одновременно ему было присуще устойчивое представление о сущности бытия, о его трагичности. Оно было постоянным, устой-

чивым, не менялось на протяжении всей его жизни. Он жил независимо и приспосабливаться к чему-то сиюминутному не хотел. К тому же на него влияло что угодно, но только не отвлечённая мудрость доморощенных философов. Все эти далёкие от реальности рассуждения дилетантов его неимоверно раздражали. Слишком мало было отпущено ему времени на жизнь в творчестве, чтобы наслаждаться переливанием из пустого в порожнее.

Мало кто из моих современников прислушивается к совету Льва Николаевича Толстого: «Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе».

Стихийное пробуждение гражданских чувств произошло на исходе существования советской власти. Достаточно было лозунгов перестройки и некоторого послабления в ежедневной обработке массового сознания в духе партийной демагогии, как лёд тронулся, и началось половодье публикаций, ещё за три года до того считавшихся антисоветскими. За очень короткий срок открылся мир, неведомый большинству советских людей. Нечто подобное в России произошло в XVIII веке, когда по выражению историка В.О. Ключевского: «... чуть ли не в один век перешли от Домостроя попа Сильвестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера».

Бо'льшую политическую активность из всех сословий и классов проявляли служащие, относящиеся к ИТР. Согласно Единому классификатору профессий того времени они подразделялись на три категории. Первая была представлена руководителями, вторая – специалистами, на долю третьих приходились все остальные, именуемые техническими исполнителями. Самая беззаботная жизнь была у последних. Как говорили в те приснопамятные годы: «На работу пришёл. В носу поковырял, ж.... почесал, языком потрындел, чайку попил и домой пошёл. Плохо что ли?». Эти, так называемые «технические исполнители», оказались в то время основными читателями Венедикта Ерофеева. Для многих из них чтение его поэмы «Москва – Петушки» было очередной полулегальной забавой и никак уж не приобщением к серьёзным раздумьям о собственном будущем. Тем более, оно не приводило их к христианству. Эти люди представляли тот же социальный слой основной читающей публики, что и петербургские чиновники 30-х годов XIX века, составлявшие «верхушку низового читательского слоя» и зачитывавшиеся самиздатовским, то есть ходившим в списках, «Горем от ума» Александра Грибоедова. Вместе с тем они в пушкинское время, по наблюдению литературоведа Лидии Гинзбург, относились к достаточно большой социальной группе,

выражавшей наиболее полно николаевскую государственность и идеальный тип обывателя. Как видим, за сто пятьдесят лет в России мало что изменилось.

Не будет преувеличением сказать, что в литературной среде Венедикт Ерофеев существовал практически в одиночестве. Несколько человек из писателей, его оценивших и принявших как равного до выхода поэмы «Москва-Петушки», в счёт не идут. До настоящего времени им написанное нередко рассматривают как явление любопытное, но изначально маргинальное, находящееся на обочине художественной литературы и эссеистики. Спустя годы поубавили свой восторг даже те люди, кто близко его знал и отдавал дань его писательскому таланту.

Напомню читателю, что у социологов *маргинал* означает человека, находящегося вне социальной группы – изгоя, аутсайдера, бомжа. Термин происходит от латинского *margo*, *marginis* – край, граница. На французском языке от этого латинского слова произошло *marge*, а на английском – *margin*. Они обозначают поле книжной или рукописной страницы. Не стоит, однако, забывать, что (цитирую писателя В.И. Новикова) «люди центра часто не оставляют в жизни никакого следа, а со страничного поля можно перейти в вечность».

Как и Сиддхартха Гаутама Будда, Венедикт Ерофеев объявил о разрыве с прежним духовным миром, в котором ложь опиралась на несоотносимую с ходом жизни идеологию. В этом мире не находилось места инакомыслию. В нём отсутствовало право выбора, а свобода воли исключалась объявлением государства доминирующей ценностью среди всех прочих. Понятия морали и нравственности переосмыслялись в угоду сиюминутным интересам правящей верхушки. Только уже по одной этой причине представляющее такой мир государство является преступным по отношению к своим гражданам. Подобные рассуждения уже стали общим местом в современной русской публицистике.

Совсем уж буддийская максима присутствует в рассуждениях Венедикта Ерофеева о вреде *эго*: «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Его жизнь своей трагичностью и контрастами напоминает жизнь буддийского монаха, ступившего на путь освобождения от иллюзий *сансары* и её притяжения. Да и относительная бытовая стабильность в жизни Венедикта Васильевича складывалась не так, как это обычно происходит со многими людьми. Например, по сравнению с жизнью

Варлама Шаламова, перетерпевшего мытарства и муки сталинских лагерей, жизнь эта всё-таки, несмотря на сопутствующие ей передряги, проходила относительно спокойно и даже большей частью в окружении симпатичных и свободомыслящих людей. Венедикт Ерофеев не пошёл по пути полной самоизоляции. Этот путь предложил Варлам Шаламов, исходивший из собственного жизненного опыта. Как добиться в атеистическом государстве того, чтобы творческое начало в каждом человеке, данное Богом, раскрылось? Автор «Колымских рассказов», на много лет старше Ерофеева, был убеждён, что «одиночество – оптимальное состояние человека», ведущее его к самоосуществлению самого себя.

Ступать на путь, предложенный Варламом Шаламовым, Венедикт Ерофеев не захотел. Время было уже другим, почти что вегетарианским. Время коллективных усилий, направленных к освобождению от большевистских мифов и идеологического насилия. Ложь и цинизм в советском обществе достигли апогея. Венедикт Ерофеев, как и Варлам Шаламов, понимал, что государство, в котором он родился и существовал, в ходе «холодной войны» достигло максимальной изоляции от окружающего мира, в результате чего, по словам Михаила Горбачева, были изуродованы «экономика, общественное сознание и мораль».

Варлам Шаламов и Венедикт Ерофеев своим творчеством и жизнью подтвердили формулу Генриха Гейне: «Нравственность – это разум сердца». Не потому ли каждому из них, несмотря на неблагоприятные жизненные обстоятельства, удалось проявить себя и сказать своё слово в русской литературе?

Однако Ерофееву по духу и внутренней энергии ближе Варлама Шаламова был Иван Шухов, герой повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Как писал К.И. Чуковский, человек «жизнестойкий, “злоупорный”, выносливый, мастер на все руки, лукавый и добрый». Я думаю, что Венедикт Ерофеев согласился бы с Анной Ахматовой, сказавшей: «Эту повесть обязан прочитать и выучить каждый гражданин из двухсот миллионов граждан Советского Союза». Общество, в котором все мы существовали, как заметила дочь Корнея Ивановича Чуковского Лидия Корнеевна, было «несчастным, глухо-слепо-немым, не знающим, что творит». Даже Александр Солженицын, как полагала Анна Ахматова, был человеком советским, когда речь заходит о его художественных вкусах и оценках. Однако же, как пишет французский социолог Ален Безансон, «в мире, где господствовало не только убийство, но право на убийство, не только без-

законие, но обязанность творить беззаконие, не только ложь, но и долг лгать – он восстановил всеобщие моральные принципы».

Венедикту Ерофееву не было нужды, как Варламу Шаламову, полностью замыкаться в себе. Он не был разрушителем системы, а просто исключил её из своего сознания как уже отсутствующую реальность, данную ему при рождении. С этого момента обслуживающие эту систему и её защищающие люди не могли восприниматься им его врагами по причине их метафизического отсутствия. Они, словно по мановению волшебной палочки, превратились в бесплотные тени, в облачные субстанции. Я думаю, что такая картина мира объясняет многое в психологии и поступках Венедикта Ерофеева.

Обращусь опять к буддийским понятиям. Когда большинство его коллег по писательству ещё пребывали в *сансаре*, он уже находился в своей *нирване* – вне пространства и времени, вне всех возможных форм *сансарного* существования. Другое дело, что *сансара* во всех своих планах и аспектах вызывала у него неподдельный интерес и была объектом его многолетних и пристальных наблюдений со стороны. Особенно тот временной аспект её бытования, из которого ещё не выветрился дух большевистского насилия. Тот иллюзорный, построенный на обмане мир, отвергнутый его духовными усилиями. Он был уже недосягаем в своем духовном убежище. Ведь Венедикт Ерофеев обладал живой душой – непременное условие успешного бегства. Это был его духовный и физический исход из языческого, по существу, мира, постоянно требующего от людей всё новых и новых жертвоприношений, не обязательно человеческих, и самоотречений. Теперь наступило время облечь свой опыт в слова. Открыть своим соотечественникам глаза на необходимые условия их собственного освобождения. Как им самим возможно размагнититься от притяжения *сансары*. До этого шага навстречу *нирване*, они должны были ужаснуться неприглядным и сатанинским видом *сансары*. Выполнить такую задачу было по силам только человеку с абсолютным литературным даром и музыкальным слухом, позволяющими почувствовать и услышать по контрасту с безобразием земного миропорядка гармонию высших сфер. Так появилась поэма «Москва – Петушки» и пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора».

Совершу небольшой экскурс в историю родной страны. С петровских времен Россия раскололась на сторонников двух жизненных укладов. Как определил их историк В. О. Ключевский, это были уклад *почва* и уклад *цивилизация*. Большая часть населения

России сохраняла *почвенный* уклад с его уравнительными принципами социальной справедливости и антисобственническими настроениями. Все стороны этого уклада формировались русским православием. Оно определяло духовную жизнь людей, призывая их смиренно нести свой крест. Деятельность человека, направленная к обогащению, православием не поощрялась. Духовными столпами «почвы» были Сергей Радонежский, Нил Сорский, Серафим Саровский, Тихон Задонский, Паисий Величковский и Амвросий Оптинский. К нравственным идеалам этого уклада относились жертвенность, терпимость и всечеловечность. Гражданская и религиозная сферы жизни существовали в нём как неразделимое, единое целое. Такой уклад жизни содействовал расцвету народной культуры. Сколько тогда русским народом было сочинено доживших до наших дней песен, сказаний, былин! Жизнь в соответствии с национальной традицией дала очевидные духовные плоды.

Однако консервативные дедовские взгляды, которых придерживалось большинство русского народа, действовали на экономику угнетающе. Ведь предпринимательство не считалось богоугодным делом. Личная инициатива противоречила общинному сознанию. Нельзя сказать, что *почвенный* уклад мешал народному просвещению. В XVII веке была создана Славяно-греко-латинская академия – защитница русского православия от протестантских и католических идей.

Уклад *цивилизация* «включал небольшую часть России, в основном грамотную и социально активную». Он насаждался государством, им контролировался и не был в полном смысле западным. Он был значительно деформирован. В дворянской и разночинной среде появились прозападно настроенные люди, относящиеся к православию с некоторой прохладцей. Как пишет Л.И. Семенникова «распространялись антицерковные и даже атеистические настроения. П.Я. Чаадаев критически оценивал православие и религиозный выбор, сделанный в X в., как акт, оторвавший Россию от европейской истории и культуры».

Для Венедикта Ерофеева *цивилизационный* уклад был ближе *почвенного*, поскольку означал путь к просвещению и давал надежду на приобщение России к некоммунистическому миру, которым власти запугивали своих граждан. Недаром он ценил роль эпохи Просвещения в судьбе стран Запада. Именно оно вывело его народы во второй половине XX века на совершенно иной уровень общения друг с другом.

Обращусь к роману Томаса Манна «Доктор Фаустус»: «Для ревнителей просвещения в самом слове “народ” всегда слышится что-то устрашающе архаичное. Мы знаем, что обращаться к массе, как к “народу”, значит толкнуть её на дело отсталое и злое. Что только не совершалось на наших и не наших глазах именем народа! Именем Бога, именем человечества или права такое бы не совершилось».

Томас Манн по своему жизненному опыту знал, о чём говорил. То же самое можно сказать и о Венедикте Ерофееве, на самом себе испытавшему эту давящую силу дикости и политического невежества, существующую испокон века в малообразованном и запуганном народе. Вслед за Томасом Манном он был убеждён, что помешать прорыву наружу этой первобытной народной злобы способна вовсе не религия, а литература с её проповедью гуманизма, с её идеалом свободного, прекрасного человека.

При всей его любви к розыгрышам и мистификациям Венедикт Ерофеев был закрытым и осторожным человеком. Обладая живым умом и острой наблюдательностью, он из прочитанных книг и собственного жизненного опыта вынес важное правило – полагаться исключительно на самого себя и никому не доверять, даже брату и сёстрам. Однако притворство, вытекающее из этой психологической установки, было ему чуждо и противно. Венедикт Ерофеев избрал для себя единственно приемлемый для него образ жизни: по мере возможности помалкивать, не выскакивать из собственных штанов для получения чего-то желаемого, на земные блага не рассчитывать, время проводить не в праздности, деньги зарабатывать физическим трудом, добиваться умственного и духовного совершенства с помощью чтения книг и общения с умеющими думать людьми. И особенное удовольствие ему доставляло общаться с кем бы то ни было на равных.

Важно также понять, что он вовсе не собирался пробиваться в известные писатели. Из приличных и талантливых людей на эту цель были настроены многие из моих современников. Например, Олег Битов, Владимир Войнович, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Леонид Губанов. Я убеждён, что у Венедикта Ерофеева такого намерения и в мыслях, не то что в действиях, никогда не существовало.

Разумеется, он не осуждал присутствующее у его сверстников естественное желание стать знаменитыми. В этом стремлении к славе, казалось бы, не было ничего дурного, если бы не одна загвоздка – в СССР выделение из общей людской массы означало

непременный контакт с существующей идеологической системой. А это в той или иной степени требовало от писателя выражения уважения и лояльности по отношению к ней или умения виртуозно и талантливо провести её охранителей вокруг пальца.

Вот почему Венедикту Ерофееву не хотелось становиться «инженером человеческих душ» (определение советского писателя, данное Иосифом Сталиным), засорять сознание своих соотечественников малой или большой ложью, а себя унижать ролью приспособленца или хитреца, играющего с властью в кошки-мышки. К счастью, он дожил до того долгожданного времени, когда роль художника стала ограничиваться рамками его профессии.

Не желая расширять и укреплять советскую мифологию, Венедикт Ерофеев предпочёл позицию находящегося в стороне человека. Кто знает, может быть, с детских лет пришла к нему потребность наблюдать за людьми и размышлять, не торопясь, над увиденным. Позиция наблюдателя, прямо скажем, не означала подглядывание в замочную скважину. Венедикт Ерофеев был также чрезвычайно деликатен в словесном оформлении своих наблюдений. Не стоит думать, обнаруживая в его прозе нецензурные слова и выражения, что он возводил вседозволенность в принцип жизни.

Одно для меня стало ясным. Это был человек, на редкость последовательный в своих взглядах и поступках.

Всё-таки существует какая-то тайна в непохожем ни на что явлении – Венедикт Ерофеев. Я не настолько самонадеян, чтобы дать её разгадку. Но и не настолько безразличен к Венедикту Ерофееву, чтобы не попытаться понять причины его появления среди классиков мировой литературы. Бесспорно одно. Как говорили в старину, житие Венедикта Васильевича было *неложно*, а чистота *нескверна*. До последнего своего часа он сохранил в себе острый слух ко всему, что рождается не размышлениями изворотливого ума, а стихийными движениями чуткой и одновременно жаждущей правды души.

Вот потому-то, как убеждена поэт и прозаик Ольга Седакова, «для каждого, кто знал Венедикта Ерофеева, встреча с ним составляет событие жизни».

Москва